

Кусчуй НЕПОМА

Кусчуй Непома (Михаил Петров) родился в 1966 году в Рыбинске. Окончил Ленинградский технологический институт им. Ленсовета, аспирантуру. Переводчик испаноязычной литературы. Переводы выходили в издательствах «Амфора», «Азбука», «Симпозиум», «Наука». Автор сборников «Иоахим Воль, передвигатель шахматных фигур» (Луганск: Шико, 2011) и «Треугольник случайных неизбежностей» (Луганск: Шико, 2013). В «Волге» публиковалась проза (2014, 2016, 2017, 2020, 2024). Живет в Санкт-Петербурге.

ДИСТАНЦИЯ

(удаленная форма жизни)

Повесть

Паяльникову бесило, что жена, встав с постели, прикладывала ладонь к его лбу. Ну что за привычка!

«Она б еще мне зеркальце ко рту подносила!» – зло думал он.

Про зеркальце он подумал в машине, когда смотрел в зеркало заднего вида. В белесой пурге едва видны были фары шедшего следом автомобиля.

Видавший виды рено вез Паяльникова домой. Вез через пробки на мосту возле Кировска, через вдруг начавшуюся метель. Три с лишним часа сложной дороги, Паяльникову казалось, что он не успеет. Савельев, который вел машину, хоть временами и давил на газ, но осторожничал, опасаясь идти на обгон из-за плохой видимости. Его старый рено обгоняли более молодые и резвые машины.

– Ничего, Андрей, – бормотал Савельев, – доедем, успеем...

Паяльников то и дело переговаривался по телефону с Наташей, социальным работником, которая была сейчас при матери. Ночью мать упала с кровати, и Наташа, открыв утром дверь квартиры, нашла ее на полу с гематомой на бедре. С трудом уложив ее обратно на кровать, она вызвала скорую. Потом позвонила Паяльникову, сказала, мол, так и так. Хорошо что Савельев, одноклассник Паяльникова, собрался сегодня ехать на малую родину. Паяльников уговорил его сдвинуть время отъезда. И вот они вдвоем сейчас мчались через пургу в Тихвин.

– Совсем плохо, – говорила Наташа, – врачи ничего не делают. Они ее на выписку отправляют, говорят, вызывайте такси и везите. А как ее на такси, она же не ходячая...

И Паяльников слышал в трубке Наташин голос, обращенный в сторону: «Дыши, дыши же, родная».

– У нее судороги временами, она дышит тяжело... Они, оказывается, даже анализы у нее не взяли. Только теперь, когда у нее судороги стали, забегал персонал... На КТ повезли, невролог распорядился. А в выписке КТ написано, что сделано, а не сделано на самом деле.

Паяльникова трясло от этого репортажа, но злость не могла сократить расстояние или хотя бы прекратить метель. Нет, мать выдержит, выкарабкается. «Она почти шестьдесят лет была со мной, – думал он, – а до этого еще тридцать пять без меня, такие так просто не сдаются». У нее была... почему была, есть... трудная

долгая жизнь. Она не может так просто взять и прекратиться. Все будет хорошо, успокаивал себя Паяльников.

Пять лет назад – и это дежавю какое-то, – было все то же самое: упала, ушиблась, адская боль в спине и ногах. Казалось, все, она не выберется, но потихоньку через пару месяцев встала на ноги, пошла.

Савельев крутанул руль, пытаясь обогнать фуру, но тут же вдавил педаль тормоза, резко встроился обратно в ряд. Паяльникова тряхнуло.

«Ну вот, этого еще не хватало. Мертвый я ей совсем не буду нужен», – думал Паяльников.

Он вспомнил те несколько месяцев пандемии, которые по сыновнему долгу, отложив все рабочие дела, теряя заработок, посвятил матери...

– Когда же я сдохну! – говорила мать, с трудом переворачиваясь на бок. – Зачем человек живет? Чтобы так мучиться?

– Перестань, мама, – Паяльников не выносил эти разговоры. Он знал про ее нелегкую жизнь, скукоженную, сжатую со всех сторон тисками: войной, голодом, дистрофией, нелюбимой работой, недолгой семейной жизнью, затянувшейся болезнью мужа, отца Паяльникова, и им, самим Паяльниковым, поздним ребенком. Но ему все же верилось, что не только из страданий состоит жизнь, любая жизнь. Из радостей тоже, пусть из маленьких, не таких частых, как хотелось бы, но все же радостей.

– Ну скажи, ведь было что-то у тебя хорошее в жизни, – пытал он.

– Ничего не было. Ничего хорошего, – говорила мать, подпирая голову рукой.

– Как же так. Ты девяносто лет прожила, и неужели не было ничего хорошего.

– Ничего! – отрезала она.

Андрей надеялся, что хоть отца, ушедшего целую вечность назад, она вспомнит добрым словом. Как же – поздний брак, неожиданная партия, было же в этом что-то счастливое. Должно было быть. Но семейная жизнь вышла короткой, а если вычесть восемь лет отцовской болезни, то совсем крошечной по сравнению с ее нынешними годами. Незаметной даже.

– Ничего хорошего не было.

Это звучало приговором.

В редких воспоминаниях о жизни, в которые она пускалась под настойчивыми вопросами Андрея, и в самом деле не было ничего светлого. Детство – война, юность – голод и измождение, молодость – работа на износ, а потом все время недоладицы: денежные реформы, съевшие выплаты за без вести пропавшего в сорок первом отца, а потом материнские накопления, инфляции, дефолты и деноминации. Пенсия разве что, хоть и непозволительно маленькая, была чем-то стабильным.

– Лучше бы умерла я в детстве, зачем мать меня выходила.

Андрей хотел было возразить: чтобы меня родить, ведь тогда бы не было меня. Но промолчал. Он поправил подушку. Мать пока еще не вставала, и встанет ли вообще, Паяльников не знал. Сейчас первой задачей была госпитализация, но ее как раз и не случилось – пандемия, все двери присутственных мест закрыты, а больница – тем паче – забаррикадирована насмерть.

Пандемия

– Мама, доктор пришел, – сказал Паяльников, подходя к входной двери.

У доктора была фамилия. И была она Аминов. Имя с отчеством Паяльников выговорить не мог. Фенил Пронизолонович какой-то. Или Ацетат Натриевич.

– Андрей... – позвала из комнаты мать.

Паяльников нажал на кнопку домофона.

– Андрей!

– Мама, что?

– Говно пошло.

Доктор Аминов. Бодрый, весь такой скользкий, как облизанная карамель, подтянутый, в джинсах в обтяжку, курточка легкая не по погоде с воротником стоечкой, с медицинской повязкой, из-под которой блестели жаждой жизни и окончания рабочего дня мелкие черные глазенки. Ему пришлось ждать на кухне, пока Паяльников менял подгузник. Непредвиденная задержка, доктор Аминов поглядывал на часы, вываливая их из-под рукава жестом – широким, будто вырванным из семафорной азбуки – такой моряки с одного судна рассказывают что-то своим коллегам с судна другого.

Доктор Аминов отделался парой вопросов, попросил бумагу с ручкой и размашисто начертил курс лечения. Прочитал написанное, встал.

– А уколы кто будет делать? – спросил Паяльников.

– Вы.

– Я... нет. Я не умею.

– Тогда не знаю.

Доктор Аминов протиснулся в коридор и, сбегая по лестнице, сказал:

– У нас нет медсестер. Пандемия.

Передохли, что ли, подумал Паяльников, пандемия у них...

– Что за доктор такой! – сказала мать. – Выписал бы укол.

– Он тебе выписал два укола, – Паяльников пытался разобрать написанное доктором Аминовым.

– Одного хватило бы. Чтобы заснула... Навсегда.

– Мама!

– Врач он или кто!

– Врач, а врач лечит, а не...

– Это и есть лечение. А то нахрена он такой врач нужен.

Паяльников видел в окно, как доктор Аминов вскользнул в машинку с красным крестиком на капоте. Какое нелепое все-таки существо, подумал Паяльников, этот доктор.

Мать рассуждала про лечение, избавляющее от страданий, справедливое лечение, про врачей, настоящих врачей, внимательных и заботливых...

Паяльников не слушал. Он застыл у окна, смотрел на мокрый снег, такой неприятный в конце апреля. На покрытого снегом работника ЖКХ, кромсающего кусты жужжащей пилой. На Галю, дворника, орущую благим матом на раскидывающих срезанные ветки пацанье. На квадратный двор, знакомый с детства, а теперь чужой... И ведь в том, что доктор Аминов такой, виноват не сам доктор, а он, Паяльников. Это он нелепое существо, он. И никто другой. Потому-то теперь и пандемия.

Мечь

– Мама, что будешь на ужин? – Паяльников остановился в изголовье постели. Мать лежала на боку, на большой подушке голова ее казалась маленькой, незаметной, как будто и не было ее, а был только странный рисунок наволочки.

– Опять есть... Сколько же время?

– Уже семь.

– Время летит со свистом в ушах...

Так она говорила раньше всякий раз, подчеркивая скоротечность своей долгой жизни. Теперь же скоротечность эта была совсем иная, других масштабов, еще скоротечнее, чем ранее.

– Опять есть... Не хочу я есть.

– А я картошку варю, – Паяльников сел напротив. – Может, сосиску хочешь?

– Нет, не надо.

– А чего хочешь?

– Ничего не хочу. Сдохнуть хочу.

– Творог есть. С ряженкой тебе дам, хочешь?

Мать пожевала губами, как будто творог был у нее уже во рту, и она взвешивала на весах, на одной чашке которой был творог, на другой сдохнуть. Творог перевесил.

– Ладно.

Наминая в миске творог с ряженкой, Паяльников подумал: как ни звучит это парадоксально, но выходит, что я как будто мщу ей.

Когда он приезжал к ней (на побытку, говорил сосед с первого этажа), оставался у нее на неделю, еда в него поступала каждые четыре часа. Такая была материнская забота.

«Опять есть», – бубнил Паяльников. Но расстраивать мать отказом не решался. Мало ли в ее жизни было неприятностей, а тут еще я, почти не бывающий у нее... Мать готовила одни те же блюда, десятилетиями, с самого детства. Паяльникову было все равно, что есть. Каша – так каша. Котлеты – так котлеты. Ежики – так ежики. Тушеная картошка – так тушеная картошка. И обязательно первое в обед: суп, щи, в крайнем случае куриный бульон. Все равно. Если б не частота приема пищи. Впрочем, он быстро привыкал и безропотно проглатывал в положенное время котлеты, супы, каши, картошку, не успевая не то чтобы почувствовать голод – не успевая избавиться от сытости. Утренний сон прерывался завтраком. Завтрак был готов, а потому – пора просыпаться и вставать.

И сейкашная его забота о матери походила на месть. Месь, переходившая по наследству. Месь! Я мщу! Сам того не осознавая... Ладно, не перегибай палку, Паяльников. Не мудрствуй лукаво. Ты заботишься о ней. Заботишься. В этом доме так заведено. И неважно, кто кого кормит. И кто кого будет кормить потом. Хочешь или не хочешь – ешь, рубай.

Логический тупик

Паяльников открыл входную дверь, вошел. В дальней комнате разговаривали. Паяльников мог бы еще на лестнице понять, что к матери поднялась соседка Валентина – в их почтовом ящике в отличие от соседних не торчала рекламная газетенка. У Валентины – единственной из соседей, с кем мать поддерживала отношения, – были ключи от квартиры.

– Сил нет больше жить, – слышал Паяльников из коридора голос матери. – И сил нет умереть. Дайте таблетку, чтоб сдохла...

– Нет, скажешь тоже, – говорила в ответ Валентина. – Сдохнуть когда – это не твое собачье дело. Твое собачье дело – жить. Боль приходит, боль уходит. Живи.

– Невозможно больше это терпеть. И за ради чего терпеть? Как будто что-то будет

у меня еще. Сзади-то не было ничего хорошего, а тут спереди будет – ага, на-ка выкуси.

Паяльников поставил пакет с продуктами на пол и уже было открыл дверь на лестничную площадку, чтобы тихонько уйти, однако вспомнил, что в пакете сверху лежал херес. Подумают, что он пьет. А он не пьет. Выпьет, конечно, бутылку, дня за четыре. Разве это пьет? Но маме этого не объяснишь. И Валентине не объяснишь, у нее дочь, здоровая баба, не работает, а вино пьянствует, для нее это как красная тряпка.

Осторожно на цыпочках Паяльников прошел на кухню, спрятал херес в пенал, оставил на табурете пакет и вышел из квартиры.

Он не хотел мешать разговору. Соседскому. Хотя такой разговор, вредный по сути, неправильный, надо бы прерывать на корню. Но прерви он вредный разговор, и соседка уйдет, а это нехорошо, потому что лишать мать хоть малейшего общения это плохо, неправильно. Вот такой логический тупик. И так нехорошо, и по-другому скверно. Одно успокаивает, что они могут и переменить тему, поговорить о чем-то ином, мало ли. Могут. Конечно, могут.

Паяльников вышел из подъезда, побрел бесцельно по улице, щурясь на заходящее солнце. Заложил руки за спину, так почему-то было легче бесцельно идти. Выгляжу я странно, подумал, никто здесь так не ходит. Так могут разве что прогуливаться старики. Но стариков сейчас на улице не было. Было эхом отдающееся вдали объявление через громкоговоритель с просьбой оставаться дома во избежание риска заражения. Молодые же скачут, катаются на велосипедах, роликах, досках – им ни объявление, ни зараза ни о чем. А он, Паяльников, со своей этой неспешной походкой, с руками за спиной, походил на бездельника-философа какого-то. А я и есть бездельник, подумал он. Может, эта чертова пандемия и дала необходимую паузу, чтобы приехать. Без работы, без трудовых обязательств спокойно ухаживать за матерью.

С одной стороны, он должен исполнять сыновий долг, потому что так заведено. А с другой стороны, его присутствие только усугубляло ситуацию. Мать не хотела быть обузой, а то, что она теперь обуза, она хорошо понимала. И не просто обуза, какая-нибудь абстрактная, а обуза собственному единственному сыну, которого она всегда ограждала от любых неприятных ситуаций. И наверняка и на смертном одре он скажет что-то типа: ты только ради бога водку не пей на моих поминках. И собственная беспомощность перед ним расстраивала ее еще больше. «Боже мой, дожила, стыдоба!» А отсюда еще большее желание покончить со всем этим. Разом. Вот такой обусловленный метафизически логический тупик, как сказал бы Савельев, давний приятель Паяльникова и любитель высоких штилей. Обусловленный метафизически логический тупик. Тупик логический, метафизически обусловленный. Когда не быть рядом – плохо и просто невозможно. А быть рядом – еще хуже, хоть и возможно.

Глубинные ганглии

Паяльников откупорил бутылку хереса. Достал из кухонного пенала граненую рюмку. Лет ей было больше, чем ему, Паяльнику. Архаичные советские граненые девайсы под водку. Не то чтобы он испытывал ностальгию по своему недолгому советскому прошлому. Он никогда не пил из граненых рюмок. Когда они были под боком, он был мал еще для подобных экзерсисов. А когда стал годен для них, то таких рюмок не оказалось в эpsilon-окрестности его интересов.

Паяльников нашел их на кухне материнской квартиры. Перевернутые ножкой вверх, они стояли на полке кухонного пенала. Паяльников достал их, рассмотрел со всех

сторон и заключил, что они необычайно хороши. И пить из них херес ему сейчас казалось привлекательным. Удивительным. Щекочущим глубинные ганглии, как бы сказал любитель высоких штилей старый знакомец Савельев (Савельев называл это даблгэ). Равно как эти глубинные ганглии щекотало ношение носков от разных носочных пар. На одной ноге, скажем, бордовый, а на другой – темно-синий. Или на одной – светло-серый, а на другой – черный. Сказать внятно, зачем носить разные носки, Паяльников вряд ли мог. Так вышло. Был бы помладше, сказал бы – прикольно. Но он был человеком с пятидесятилетним стажем жизни, взрослым. А потому выудил из актуального ширпотребного многообразия слово «протестный». Принадлежность к протесту тоже щекотало его даблгэ. Но что это за протест? Против себя самого, против всего, что его окружало, против всего, что не окружало? Маленький такой протест, малозаметный под штанинами и ботинками. Неказистый.

Как-то мать обратила внимание на разность носков. И раздраженно указала сыну на эту глупость:

– У тебя что, носков нет? В комодке носки, ни разу не дёванные, возьми.

Паяльников не хотел носки из материнского комода, хоть они были ни разу «не дёванные». Ему хотелось те носки, что были у него на ногах, разношерстные, разномастные.

В этот раз матери до носков Паяльникова не было никакого дела.

– Что мне об носках твоих беспокоиться, – сказала она, скосив взгляд на ноги сына, – когда мне на себя-то уже все равно.

Паяльников не поверил. Даже если настанет самая крайняя степень, в которой забота о себе исчезает как ненужный факт существования, даже в таком случае в сторону сына-то она непременно выдаст свою заботу. Может, это и держало ее на этом свете.

Рука сама в «дикси» потянулась к знакомой массандровской бутылке. Хоть и стоил херес здесь немало, а нынче в условиях карантина и самоизоляции, уничтожающих человеческую жизнь более изощренными методами, чем какой-то там вирус, это было еще не разумно с финансовой точки зрения. Однако Паяльников, стоя в социально-дистанцированной очереди в кассу, ни на секунду не усомнился в своем решении. Херес в его ситуации был не просто херес, это была связь с прежним миром, который остался с той стороны стекла автобуса, увезшего Паяльникова ранним утром из Петербурга в городок на окраине Ленинградской области. Возвращение блудного попугая, думал Паяльников, глядя на мелькавшие рекламные щиты, какая пошлость, скажите на милость, какая пошлость...

И сейчас, сидя на кухне и цедя из рюмки херес, Паяльников понимал, что такой же пошлостью, несмотря на глубинные ганглии, был и этот самый херес. Потому что связь с миром, в котором осталась светлая, как он считал, сторона его жизни, после двух недель пребывания вне его, казалась ему пошлой.

Открытка

Под 9 мая на имя матери пришло письмо. Губернатор области, называя по имени-отчеству, поздравлял с годовщиной Победы. От всей души, подвиг вашего поколения, вы выстояли и победили, сила регионов в нерушимой связи, бережно храним память, здоровья, счастья, долгих лет жизни, над головой...

– Ну и на кой мне его поздравления? – сказала мать, когда Паяльников торжественно прочитал послание. – Что мне с него? Ишь, какую открытку отгрохал!

Открытка в самом деле была дорогая: большая, плотная, глянцевая, с историческим фото: девушка-регулировщица на фоне разбитого Рейхстага, перед дорожным указателем «Лейпцигер Плац/Министерство внут. дел».

После подписи-факсимиле губернатора, похожей обликом на рыбий скелет, шел номер 46056. Видимо, столько раз секретарша приложила факсимиле к открыткам, множа губернаторову подпись. Паяльников представил, как на следующий день губернатор гордо мажет опухшую руку кремом, чтобы уменьшить трудовой отек.

– Лучше бы докторов организовал. Ходили чтоб к пожилым и интересовались их здоровьем. А то открытку. Подтереться и то неудобно.

– Ну, мам... Он же хотел как лучше.

– Прости, сын. Опять говно пошло.

Потом она рассказывала про день Победы. Настоящий и единственный, без открыток, без подписей, без слов. Был теплый день. Ей было тринадцать. Откуда пришло известие об окончании войны? Наверняка из радио, из черной говорящей тарелки. Откуда ж еще? Сама она этого известия не слышала. Но вдруг по улицам побежали люди. Они бежали с ошалелыми глазами и кричали «Война кончилась! Война кончилась!» Обнимались, целовались, снова бежали и снова кричали. Кто-то бежал на вокзал, куда прибывали эшелоны с демобилизованными, надеясь хоть в этот волшебный день встретить тех, кого уже отчаялся увидеть.

Даже несносная соседская девица, тощая как глиста, которая все эти годы при виде матери и ее брата дразнилась: «Жид, жид, на веревочке бежит!» – она тоже хотела обниматься и целоваться, но мать тогда с достоинством отстранилась. Обида была велика. И не столько сам факт дразнилки был обиден, сколько то, что их называли «жидами».

– Какие же мы жида, – говорила мать с возмущением, – мы на евреев нисколько не похожи, мы русские, мы Венедиктовы.

Вот и весь день Победы. И через семьдесят пять лет пришла открытка, первая, с поздравлением: от всей души, подвиг вашего поколения, вы выстояли и победили, сила регионов в нерушимой связи, бережно храним память, здоровья, счастья, долгих лет жизни, над головой...

Паяльников не сказал матери, что вместе с открыткой вытащил из почтового ящика счета на оплату ЖКХ и услуг газовой службы. Эпидемия, карантин, самоизоляция, день Победы – это все как-то преходяще, а дракон хочет жрать.

С коня да под землю

Паяльников метался между звонками в скорую, МЧС и яичницей. Сколько времени придется провести в больнице, он не знал. Надо было что-то съесть. Весь день скакал как конь ретивый, времени на поесть не было. Неожиданный приход врача, сработала жалоба, поданная в комитет по здравоохранению, сдвинулись какие-то шестеренки, казавшиеся мертвыми жерновами, система захрустела, провернулась на пол-оборота. И дала добро на госпитализацию, в которой отказывала две недели – пандемия, плановых госпитализаций нет, только инсульты-инфаркты, вы ж не умираете.

– Давно бы отправилась в мир иной. Зачем мучиться? – мать ворочалась, не находя удобного положения тела, чтобы не было так больно.

– А что там, в ином мире? – Паяльников присел на стул, сложил руки на груди.

– А там ничего. Ничего там нет. Ничего не будешь чувствовать: ни себя, ни в себе, ни в ком другом.

И, снова кряхтя, она поменяла позу.

– Но вы должны отдавать себе отчет, – врачиха была дипломатично суха, – что в больнице некоторые отделения закрыты на карантин. Вы понимаете?

Паяльников пожал плечами. Понимает он. Конечно, понимает.

– Вот направление на госпитализацию. Но скорая приедет, как только вы решите вопрос спуска пациентки к машине.

И теперь нужно было свести в единой точке пространства-времени МЧС и скорую. И там и там бригады на выездах, когда освободятся неизвестно. Звонки-звонки. Яичница. Звонки-звонки. Яичница. Ответные звонки. Опять яичница. Но вот наконец – пожарная машина с мигалками, следом скорая.

Мгновенно в квартире стало тесно. Эмчаэсники в пожарной амуниции, разве что без пожарных рукавов. Два врача: девушка, маленькая, вся в красной спецодежде, и мужик в синем, с длинной хипстерской клинообразной бородой, вылезавшей снизу из-под маски. Все это походило на какое-то телевизионное шоу, устроенное на радость скучающим на самоизоляции соседям.

Паяльников боялся, что мать возьмет и выдаст сейчас своё сакраментальное «говно пошло». Но она только сложила руки на груди и переводила взгляд с одной фигуры на другую в ожидании решительных действий. Носилки, лестница, машина, спасибо друг другу, до свидания – и две машины покинули двор.

– Много вызовов? – спросил Паяльников девушку-врача, пока скорая катила в больницу.

– Много.

– Каких? – Паяльников нехитрым вопросом пытался вывести эпидемиологическую обстановку.

– Всяких, – ответила девушка. – С температурой, с улицы кого-то подбираем.

– Э... в смысле праздник?

– У некоторых круглый год праздник. Вызывают, помогите до дома добраться.

Девушка посмотрела на Паяльникова, и тому показалось, что через маску она уловила аромат вчерашнего хереса.

Медицинская каталка везла мать внутрь большой больницы. С другой скорой сгружали парня в тельняшке и камуфляжных штанах. Он держался руками за окровавленную голову. В приемном отделении сидели еще двое, поломанных карантинном и самоизоляцией, с синими лицами и гипсами на конечностях.

Мать лежала на каталке с лейблом Paramount bed, наполовину укутанная пледом, в зеленой кофте, черных рейтузах и серых носках, с беретом на голове и неподвижно смотрела на потолок. Зрелище, подумал Паяльников, нелепое какое-то. В самом деле.

– Ну и чего ж они не идут? – бубнила.

На соседней каталке, окруженный родственниками, стонал старик. Его пытались перевернуть с одного бока на другой, ему было больно. Паяльников встал сбоку от матери, чтобы не видеть чужую боль, свидетелем которой он невольно был.

– Долго мне здесь еще лежать?

– Они уже были, брали анализы, – сказал Паяльников. – Скоро снова придут. Бумаги, наверно, оформляют.

– Думала, с коня да прямо под землю. А вот нет. Хрен вам. Мыкайся теперь ползком, ни ноги, ни головы не поднять. И тебя мучаю, и других. Могла бы – померла, да не помирается. Живой не ляжешь.

Пол покрашу на кухне, подумал Паяльников, глядя как Paramount bed с матерью

исчезает в лифте. В руках у него остался материнский берет. Он увидел свое отражение в стеклянной двери. Нелепо, в самом деле.

Он шел по темной улице, где-то орали «День победы». Паяльников думал, что когда-то, может, тоже окажется вставленным в Paramount bed. Нет уж, лучше с коня да под землю.

Джексон-Водкин

К полу на кухне Паяльников приступил утром. Четыре с половиной квадратных метра – не слишком большая площадь для подвига. Но все же. Вычистил, вымыл, распахал всякую предметную сущность по углам. Сбежал в хозяйственный за крыльями, компактными, с улучшенными лётными качествами...

Паяльников зависал на кухне в полуметре от пола, держа в одной руке банку с краской, в другой – кисточку. Думалось ему, что он такой Петров-Водкин перед «Натюрмортом с селедкой» или Джексон Поллок перед «Люцифером». Краска нашлась под ванной. Паяльников сам когда-то, лет пятнадцать назад, туда поставил шесть банок, имея в мыслях грядущий трудовой порыв. Но время шло, а обострение трудового энтузиазма всякий раз сменялось трезвостью суждения: красить пол, думал Паяльников, это ж надо всю мебель выносить, снимать старую краску, скрести, вымывать – геморрой такой, мама не горюй.

А тут – раз и, наплевав на все технологические регламенты, он висел Петровым-Паяльниковым или Джексоном-Водкиным над кухонным полом и водил кистью туда-сюда. Красить сегодняшний пол краской пятнадцатилетней давности – в этом было то самое щекотание глубинных ганглиев, о которых говаривал интеллектуальный эстет Савельев. То есть красить сегодняшний пол краской, которая жила и была, так сказать, в гуще событий пятнадцать лет назад, это как намазывать на булку масло, стыренное путешественником во времени в веках советских или покоренья Крыма. Кому тут какой интерес, если у одного жизнь уже прошла, с завычками и приключениями, а у другого она заморожена. Вот так и он – мотался тридцать лет, общаги, казармы, квартиры, а вернулся сюда, где вырос, а тут – бац, краска под ванной. Вот и водишь кистью туда-сюда, размазывая свое прожитое на свое же непрожитое. Такая Аргентина-Ямайка...

– Какая боль! – вдохновенно пел Паяльников. – Какая боль!..

Вот это странное сочленение, воссоединение и мезальянс, эта боль и щекотали глубинные ганглии Паяльникова. И отдаваться этой щекотке было столь увлекательно, что Паяльников выкрасил незаметно пол в кухне. Докрасив последнюю пядь, Паяльников замочил кисть в уайт-спирите, убрал остатки краски под ванну, сжег крылья, как сжигают мосты, и только потом понял, что оставил на кухне все: тарелки, ложки, вилки, кастрюли, заварку и все прочее, что привычно было использовать для приготовления и поглощения еды. Вот дурак, заключил Паяльников, глядя на доступную бутылку хереса.

Не закрыл он и окно на кухне, и теперь сквозило.

– Окно закрой, я ж простужусь, – говорила недавно мать.

– Ты боишься простудиться?

– Зачем мне лишние хворобы?

Паяльников щелкнул шпингалетом. Мать отвернулась к стенке.

Раз боится лишних хвороб, думал Паяльников, значит, умирать не собирается. Мысль казалась трезвой.

Он на кухне потягивал херес, а заодно и эту мысль. Которая по мере изытия хереса

из бутылки превращалась из трезвой в какую-то вымороченную.

Мать жила привычками, выработанным ежедневным из года в год повторением одних и тех же бытовых формул и ритуалов. Конечно, были перемены в жизни, одни ритуалы уходили, заменялись другими, изначальные формулы трансформировались в следующие. Которые тоже жили долго, пока не заменялись еще чем-то. Иные ж оставались навсегда – несмываемые потоком времени. Как например, мыть руки и лицо после прихода с улицы, что в условиях ныне случившейся пандемии было весьма кстати. Или варить на завтрак геркулесовую кашу, или обязательно иметь на обед суп, класть вещи строго на одни те же места. На любой поверхности, по ее мироощущению, не должно быть ничего лишнего, что не соответствует текущему занятию. Эти примитивные формулы-ритуалы упрощали жизнь. Долгую, сложную жизнь, в которой было больше неурядиц и несчастий. Такие формулы въедаются в человека и становятся ровень с инстинктами выживания, впечатываются в схему обмена веществ, встраиваются в матрицу простых движений, запечатлеваются в ДНК и передаются потом по наследству. Такое наследство Паяльников ощущал в себе: безотчетное наведение порядка, каша на завтрак, дурацкое правило «дают – бери, бьют – беги», что-то там еще. И это не могло передаться как «культурно-эпидемиологический код» (еще одно словечко из лексикона интеллектуального эстета Савельева), потому что Паяльников ушел из дома в семнадцать, и виделся с матерью лишь эпизодически...

Забота про лишние хворобы – это еще одна формула жизни. Даже если ты собрался умирать. Как и другая – сосуществование с болью. Пару лет назад вызванный Паяльником из Петербурга врач-геронтолог говорил ему:

– Долго живут те, у которых вечно что-то болит. А те, у которых долго ничего не болит, умирают рано. Человек свыкается с болью. Приучается существовать с нею. И чем раньше это происходит, тем больше вероятность, что он проживет дольше. Вот появилась боль, он свыкся с нею. Завтра появится другая, но человек уже знает, что это такое. И с ней он свыкается. Приходит третья, четвертая, пятая... И каждая новая воспринимается легче. Человек приспособливается к ней. Научается жить с нею.

Мать тогда, полная подозрений, спросила после ухода врача:

– А это точно был врач?

Она не привыкла, что врачи с ней разговаривают. Привыкла, что доктора, не глядя и тем более не прикасаясь к ней, будто боясь заразиться старостью, выписывали ей очередные таблетки или пилюли и отправляли восвояси. А этот вдруг говорил, задавал вопросы, терпеливо выслушивал, снова спрашивал. Так врачи не поступают, решила мать. А значит, он не врач, а вообще не пойми кто. Корочки-то он не показал! Кого ты мне привел?!

Паяльников посмотрел на бутылку хереса. Если я когда-нибудь скажу, глядя на рюмку хереса, что я не хочу этого самого хереса, то это значит только то, что я его с большим удовольствием выпью. Какие сложные глубинные ганглии, завернутые в невыносимый культурно-эпидемиологический код, Аргентина-Ямайка, Джексон-Водкин. Говорят, что пол, на котором Поллок писал свои нетленные полотна, продали за безумные деньги.

Родник

Где-то смерть моя заблудилась? – говорила мать, сидя на кровати.

Мать выписали из больницы через две недели, скорая за четыреста девяносто семь

рублей сорок пять копеек довезла их с Паяльниковым до подъезда.

– Ползем понемножку, – кряхтела мать, с трудом поднимаясь по ступенькам. – Параллели и меридианы планеты пятками кроем.

– Сами по лестнице идем, – Паяльников суетился рядом. – Мы молодцы.

– Молодцы как соленые огурцы. Набитые таблетками и промытые капельницами. Капельницы да больничные коридоры, видать, сделали свое дело, теперь она могла сидеть на кровати.

– Где-то смерть моя заблудилась? Где ж она бродит?

Паяльников представлял старуху с косой, которая стоит у подъездной двери и никак не может найти ключ от домофона. Скрюченные артритом пальцы безрезультатно тыкаются в кнопки, а в ответ лишь – error.

– Родниковой воды вусмерть перепилась, что ли? Где ж ты, где?

Где-то смерть ее заблудилась... Заблудилась.

На родник нужно было идти пешком. Транспорт туда не ходил. Через микрорайоны, мимо спортивного комплекса, потом выйти на дорогу, ведущую к реке, спуститься по крутому берегу, перебраться на другую сторону по подвесному мосту, под которым билась на камнях мелководная речка, подняться по деревянным мосткам. Два километра туда, два обратно. Можно было доехать на велосипеде, но велосипеда у Паяльникова не было.

Родник этот Паяльников помнил с детства. Он был здесь всегда, из пригорка торчала труба, из трубы текла вода, все просто. Народу сюда ходило много. Трубу и мостки, ведущие к ней, не раз облагораживали, кто брал на себя эту заботу, Паяльников не знал. Но всякий раз когда он летом приезжал к матери, он шел к роднику, больше от безделья, словно бы на экскурсию. Проверить, бежит ли вода. Вода бежала, родник был вечным, как и вечным был людской поток к нему.

Паяльников с полуторалитровой бутылкой в руках медленно брел к роднику. Где-то смерть ее заблудилась... Кто еще к кому заблудился. Вот так же и он когда-то будет ждать. Где ж ты заблудилась? Поселится здесь, в маленьком городке, живущем другим ритмом, другой сменой дня и ночи, зимы и лета. Возьмет в привычку (он и прежде представлял себе этот ритуал, но чисто гипотетически, в гордой отрешенности от своего старого мира) каждый день ходить к роднику. Да, каждый божий день. Встал, позавтракал, исполнил утренние дела и в путь, к роднику. Повесить на себя такую обязанность – словно бить поклоны, читать мантры или молитвы, прося мироздание повернуться к тебе лицом, ожидая божьей благодати. Каждый день, брать с собой бутылку и идти. Летом в жару, в жужжанье насекомых и пение птиц, в дождь, когда капли отчаянно бьют по мосткам. В осеннюю слякоть палой листвы, когда ноги скользят по грязи на речном склоне. Зимой, когда запросто можно поскользнуться на подвесном мосту, когда смотреть на бурлящую в промывах реку холодно до костей. Весной, среди потоков воды и снежной кашицы. Каждый день, с бутылкой. Два километра туда, два километра обратно. Целый год. Чтобы смирить себя, чтобы постичь что-то, и когда завершится этот цикл, тогда откроется тайное знание, придет благодать, нирвана, прочее.

Паяльников шел по качающемуся подвесному мосту. Навстречу ехал велосипедист, разъехались, мост качнулся, Паяльникова толкнуло на перила. Удержался, лишь на мгновение ощутил падение... Каждый день. Целый год. Все правильно... Приносить полтора литра. Каждый божий день полтора литра. А на другой год брать с собой литровую бутылку, еще через год пол-литровую. Потом стакан. Или кружку. Ложку. Наперсток. Ведь дело не в воде. Что в ней особенного? Чем она отличается от

той, что продают в магазинах? Едва заметным привкусом? И все?

«Разве дело в ней?» – думал Паяльников, ожидая своей очереди прильнуть к источнику святой воды, воды прозрения.

«Разве в воде собственно дело?» – думал он, наполняя бутыль.

Разве во всем этом дело?

В чем во всем этом?

Полуторалитровая бутыль с родниковой водой стояла на подоконнике. Неделю Паяльников смотрел сквозь нее в окно, законная реальность переливалась, искажаясь, дразнясь.

«Бесовство какое-то», – думал Паяльников и не шел больше на родник. Нет, он не хотел этой истины, этой благодати, не созрел, не выносил в себе осознанную необходимость, не пристроился к мировому знанию, не взрастил в себе ростки ненадуманной веры. Не пожил еще широко, полной грудью. Чтобы остаться здесь и ждать смерти.

Где-то смерть моя заблудилась...

Тетрадь

«Андрей, при каждом выходе из квартиры бери бери ключи от квартиры, а то может захлопнуться дверь произвольно, замок верхний такой. Хоть даже выходишь на лестничную площадку. Андрей, если я умру дома, то нужно сразу вызвать скорую по 03 по мобильному 103 и полицию по 02 по мобильному 102...»

И это двойное «бери бери», явная описка, но в голову лезет болезнь, болезнь недостатка витамина бе-1. Бери-бери-бе-1.

Паяльников проснулся рано, без пяти шесть. Солнце било сквозь реденькие шторы, а во дворе, гулком согласно архитектурной мысли советских градостроителей, уже иерихонски гудели голоса, били молотками каблуки, адски скрежетали двигатели автомобилей. Сон приходил поздно, уходил рано...

Паяльников потянулся за телефоном, но рука нащупала на столе тетрадь.

– Я тебе все в тетради записала, – не раз говорила мать. – Все... Куда звонить, к кому обратиться, где моя одежда, на какой полке, сберкнижка... Все...

Сон больше не шел. Паяльников листал тетрадь, зеленую школьную, на восемнадцать листов, на обложке надпись «Андрею от мамы прочитать». Страницы тетради мимо клеток были заполнены округлыми материнскими буквами.

«Они составят акт о моей смерти...»

Да, вот именно так – о моей смерти. Выходило, подумал Паяльников, что смерть могла оказаться и не ее. А чьей-то еще. Которая могла тоже быть рядом. И фиксировать нужно только определенную смерть – ее, а чужую пускай фиксируют другие или в другой раз. Смерть, она не одна для всех, а персональная, с особенностями, со своим идентификационным номером, запахом, вкусом, цветом, или бесцветием, но тоже своим, личным, неповторимым. Стилистические издержки привносили какой-то особый смысл.

«Они скажут как отвезти в морг, куда позвонить. Везде нужно платить деньги, конечно. В морге на 2-м этаже платят за услуги. В морг нужно ехать на автобусе сойти на детской поликлинике. Там налево идет дорожка в морг...»

Как будто сошлись крайние точки жизни – морг и детская поликлиника, – а всю середину выкинули за ненадобностью. На вопрос, мама, а что-то ты можешь вспомнить из жизни хорошего, ведь девяносто лет, мать рубила коротко, не тратя время на раздумье-

воспоминание: ничего. Вот и выходило так: детская поликлиника – морг.

Паяльников раньше никогда не трогал тетрадь, хотя мать во всякий его приезд: я там тебе все написала, что нужно сделать, когда я умру. Паяльников кивал, но к тетради не подходил. Страх, суеверие... Личное суеверие: брать такие вещи нужно только когда уже все. Но тогда зачем он взял сейчас? Утренний дурман спутал географию. Однако ж можно было положить на место. Зачем открыл? Неужели все? Паяльников прислушался. За дверью тишина. За дверью спала мать.

«Загс находится в 4-м микрорайоне дом 40, где и браки регистрируют. Там с угла есть дверь и надпись это высотный дом, где раньше был магазин подарков». Трогала подробность инструкций, любовно вписанных в тетрадь, забота о нем, Паяльникове, чтобы ему было не слишком хлопотно хоронить ее.

«Народу на прощании, наверно, почти никого не будет. Так что на прощание долгое время не заказывай. У меня припасен узелок с вещами, т.е. одежды какую нужно. К этому узелку возьмешь платье трикотажное рябинькое. Оно висит в шифоньере, а узелок на нижней полке в серванте. В морге спросишь когда приносить одежду».

Шелест метлы, усиленный акустикой двора. Паяльников прервал чтение. Показалось, что вот так приходит смерть. Не тихой, с косою через плечо, старухой, а вот так – с метлой: вжих, вжих, вжих... Паяльников снова прислушался: из другой комнаты не доносилось ни звука.

«На кладбище тоже должны дать справку о моем захоронении. Что где тебе будет неясно, спрашивай». Спрашивай, у кого? У нее. Она ответит. Обязательно. Паяльников почему-то ни на минуту не сомневался. Ответит.

Казалось, каждая запись в тетради откупала у смерти секунды, дни, недели, года. Это был будто заговор от смерти, ее успокоение: смотри, моя дорогая, я о твоём приходе забочусь, и одежду подобрала, и обувь, и распоряжения все написала, и номера телефонов выложила в ряд, чтобы легко, без натуг, без хлопот, без лишнего шума исчезнуть из этого мира. Завещание – месяц, а то и два. Про сберкнижку – месяц от силы. Про коммунальные услуги (квартиру не продавай, плати не копи) – еще неделя. Про пенсионный фонд – день-два. Про того, кто будет копать могилу – тут варианты, может, год, или даже два, а может и неделей ограничится. Про узелок – года три, не меньше. Про платьице рябинькое – и пять, может.

«У новой люстры лампы в плафоне вкручивать не более 60 вт в каждый плафон. Так сказали в магазине. Включать по отдельности. Так сказал электрик». Это и десятилетие отхватит.

Из-за двери послышался вздох, тяжелый старческий вздох, от боли, от нежелания возвращаться из сна в немощное, полное боли, тело.

Таких тетрадей было три. Они лежали одна на другой. На всех: «Андрею от мамы прочитать». А внутри полная копия. «Андрей, при каждом выходе из квартиры...» Почерк только в каждой следующей был все более угловатым и нескладным.

Три копии

Три одинаковые тетради с надписью «Андрею от мамы прочитать», копии друг друга, отличавшиеся только дряхлеющим почерком. Три копии духовного завещания. Он и сам привык делать три копии. Так было принято в том технологическом процессе, в котором он в силу своих профессиональных устремлений участвовал. В цифровую эпоху три копии сохраняли массивы данных от случайной потери. Три копии, разнесенные по

разным углом. Три копии, обязательные, как смена дня и ночи. Потому Паяльников не был удивлен, увидев три тетради.

А может, и Паяльниковых тоже было три копии? На такой же самый случай повреждения? Каким-то непостижимым образом мать произвела на свет три идентичные копии своего сына Андрея Паяльникова. И эти копии потом были согласно технологическим рекомендациям разнесены в пространстве. Одна копия оставлена в Рыбинске, где он родился, другая – находится в Выползово, где они жили потом два или три года, третьей – позволено было уехать в Ленинград и потом остаться в Санкт-Петербурге. Все разумно. А то вдруг случится какой катаклизм, который повредит Паяльникова? Тут Паяльников рисовал себе широкий ассортимент возможных бедствий: вирусная эпидемия, революция, падение метеорита или кирпича, очередной приступ немоции государства, вторжение микробов-инопланетян, нашествие гигантской саранчи, смертоносная дислексия, необратимая деградация сочинительных союзов, цунами, извержение вулкана, наконец, да мало ли что. Впрочем, цунами и извержение вулкана были маловероятным событием среди родных осин, но для красоты момента пусть будут в списке. Словом, при всем при этом вероятность того, что останется неповрежденной хотя бы одна копия Паяльникова, была значительно выше.

Тут фантазия Паяльникова непроизвольно обострилась: а почему бы не расширить географию рассредоточения копий. Пускай один Паяльников будет находиться в Буэнос-Айресе, другой – в Пекине, а третий... третий... Майами или Сиднее, или Милане с Барселоной... И те, другие, Паяльниковы, генетически связанные с первой копией, безусловно, обогащали бы и ее своим знанием, видением, и вообще прочувствованием мира. Не зря же ему иногда снится Буэнос-Айрес, прочие страны, в которых он никогда не был. Сны – и так-то путанная реальность, а между копиями они путаются еще легче. Но мысль о других копиях, которым были доступны другие страны, в которых Паяльникова никогда не был и вряд ли будет, вдруг стала ему невыносима. Почему другим копиям достаются лучшие места? Почему не ему? Он ведь первая копия. А они... Но кто сказал, что первая копия он, а не они? Может, он самая что ни на есть третья копия, бросовая. Которая всегда под рукой, и хранится на полке в шкафу, рядом с пачкой чая и бульонными кубиками?

А если эти копии нужны не только для резервного хранения его, Паяльникова? Может, они функционируют одинаково и параллельно в одном пространстве-времени. И когда Паяльникова-копия-один здесь нет, то есть Паяльников-копия-два или Паяльников-копия-три. Эта мысль убаюкивала чувство вины, потому что к жившей тридцать лет одиноко матери он долгое время приезжал раз в год на десять дней, валялся на диване, ел, пил и спал, да гулял в тоске, всеми силами приближая день отъезда. Да, хорошо бы так и было, подумал Паяльников, откупоривая еще одну бутылку хереса. И тогда я могу спокойно возвращаться в Петербург, мать здесь не пропадет, мои две другие копии позаботятся о ней.

Со второй бутылкой хереса многое выглядело в тройном копировании.

Гидравлический удар

Это была изоляция. Изоляция с матерью в квартире. Изоляция квартиры в подъезде. Изоляция подъезда в доме. Изоляция дома в городе, изоляция города в стране и страны в мире. Изоляция мира от вселенной. И как всякая изоляция, она приводила в действие странные целеполагающие механизмы. Мать лежала практически не вставая, и

чтобы не слышать ее горькие мысли о чудодейственном уколе, приносящим миру, а вслед за ним и стране, городу, дому, квартире избавление от неё, матери, Паяльников искал повод задержаться на кухне.

Вода плохо уходила из раковины. Упражнения с вантузом, кротом и сантехническим тросиком не приводили ни к чему. Но если раньше Паяльников философски смотрел на то, как вода набирается в кухонной раковине, отмечая в себе медитативное превосходство над этой неловкостью мира, то теперь появился повод подойти к проблеме с научно-технической составляющей своего высшего образования.

Была в этом засоре какая-то философская мысль, которую интеллектуальный эстет и любитель высоких штилей Савельев, безусловно, оформил бы более изящно, а Паяльников во всем этом видел лишь неказистую метафору собственной жизни. Вместо бурлящего потока мутное стоячее болото – недожитая жизнь. Недожитая жизнь, которая стояла болотом в раковине, ожидая, что ее доживут, полнокровно, полноприводно, полноразно.

– В жопу эту недожитую жизнь, – ворчала мать, отправляя восвояси каких-то там свидетелей, то ли Иговы, то ли еще чего. – Жизнь вечную предлагают. Мне эту-то жить не дожить, не знаю как, идите вы ко псам.

Свидетели Иговы шли ко псам с предложением жизни вечной. А она закрывала дверь и смотрела на фотографию сына.

Теперь сын ее, Паяльников, сидя на кухне, размышлял над тем, где же находится в недожитой жизни то самое узкое место, которое не позволяло этой жизни случиться во всей своей полноте и широте.

При определенном напоре, строил Паяльников логическую цепочку размышлений, вода не собирается в раковине. Значит, определив расход, при котором вода перестает уходить из раковины, можно узнать объём воды, заполняющей систему, а учитывая диаметр труб, вычислить потом и длину заполнения, то есть фактически узнать, где в коммуникациях засор. Впрочем, для отработки такой схемы нужно ещё знать, с каким расходом вода уходит через засоренную часть трубы.

С помощью трехлитровой банки и секундомера, а также используя два разных напора воды при разной степени открытости крана, потратив на это полдня, Паяльников нашел неизвестную величину... Засор оказался в ста десяти метрах от кухонного слива. В ста десяти! Безусловная ошибка в расчетах или экспериментальных данных, или вообще в модели мира, ведь сто десять метров – это на другой улице, в другом районе, в другом городе, в другой стране, на другой планете, вселенной, в другой жизни. Может, даже дожитой.

Паяльников не очень-то огорчился неудаче, отметив в очередной раз в себе медитативное превосходство над неловкостью мира. И обратился к вантузу, с помощью которого можно было решить проблему недожитой жизни.

– Квинтилий Вар, верни легионы, – бубнил он, посылая в стометровую глубину коммуникаций гидравлический удар.

Савельев вышел из придорожного кафе, неся в картонке пару стаканов кофе, а под мышкой пакет. Он остановил машину, сославшись на усталость: еще немного – и он заснет, не хотелось бы, чтобы навсегда. Поэтому нужно было взбодриться. Заправка с кафе подвернулось вовремя.

– *Бери, бери, – сказал он, протягивая Паяльникову бумажный стакан с кофе. – Тебе это тоже не помешает. И сосиску в тексте держи. Небось, не жрамши с утра.*

Он угадал, Паяльникову было не до еды, да и сейчас чувство голода не появилось. Запах кофе, однако, бодрит.

– Ты знаешь, я давно ловлю себя на мысли, – проговорил Савельев, откусывая сосиску в тесте, – что начиная с какого-то времени я примеряю чужую смерть на собственную шкуру. Как джинсы в магазине, как шляпу, как любую одежду. Зашел в примерочную и примерил.

Паяльников посмотрел на него. Сказал каким-то не своим, глухим голосом:

– Поехали, а?

– Ладно, – Савельев отложил сосиску на заднее сиденье, вставил стакан в держатель. – Дернем.

Какое-то время ехали молча. Метель не унималась. Это выводило из себя.

– На нас натягивают будущее как гондон на детородный орган, – проговорил Савельев, взглядываясь в метель, бьющую снежной россыпью в лобовое стекло.

Паяльников не слушал его. Наташа прислала фото из приемного покоя больницы, и Паяльников вспомнил, как в прошлый раз, когда мать оказалась там, лежа вот на такой же каталке, она не узнала его, Паяльникова. Он ей показался каким-то мужиком, маленьким и ушлым, который с непонятными намерениями крутился возле нее, старухи.

– А он мне говорит, – рассказывала мать потом, – я твой сын. Какой ты мне сын, говорю. А он: с которым ты живешь. А я ему вру: я с мужем живу. И у меня есть уже сын. Отстань Христа ради. А он никуда не уходит. И одет он не по-больничному. Не из их братии. Странный такой. Что он ко мне пристал, не знаю. Про пенсию чего-то спрашивал. Так я ему и сказала! Ему говорю: домой я собралась, открой дверь. Дверь открыта, он мне говорит. Будь человеком, помоги подняться. Куда ты поднимешься, у тебя ноги едва ли ходят. Откуда он про ноги мои узнал? Откуда они все знают? А сам пониже моего сына. Вот на этого похож, на Зеленского. Вылитый он.

– Мама, этим человеком был я. И я не похож на Зеленского.

– Ты? – мать не верила. – Вот как тебя сейчас видела... Что ж это, выходит, у меня галлюцинации были?

– Не знаю, – Паяльникову было неприятно такое сравнение. – Если только телевизором навеянные, – сказал он.

А сам подумал: всякий человек за свою жизнь просто обязан хоть раз увидеть галлюцинации.

– Ты меня не слушаешь? – в сознание Паяльникова вплыл голос Савельева.

– Что?

– На нас натягивают будущее как гондон на детородный орган, говорю...

– Кто натягивает? – переспросил Паяльников, стараясь скрыть свое раздражение, сейчас Савельев его раздражал.

– Это метафора, – сказал Савельев. – Проехали с орехами. И с метафорой тоже.

– Смешно, – сказал Паяльников. – Умрешь – не встанешь.

Умрешь не встанешь

Умрешь – не встанешь, – говорила мать всякий раз, выражая ироничное отношение к чему-либо, поведению соседей, к примеру, или членов правительства. Паяльников настолько привык к этой фразе, что давно воспринимал ее паразитной присказкой. Но теперь, когда мать слегла, это «умрешь-не-встанешь», стало чем-то иным. Как бы сказал интеллектуальный эстет и любитель высоких штилей Савельев,

метафизическим посылом потусторонних ценностей. Умрешь – не встанешь, очевидная истина, которая волей-неволей, видимо, из-за контекста оборачивалась зомби-апокалипсисом, причем именно для самих зомби, которым уже не встать и не отправиться на поиски носителей свежих сонных артерий.

Умрешь – не встанешь...

Вот и я, думал Паяльников, придет время, буду лежать на промятом диване и опалать иронией окружающий мир. Но это, надеюсь, будет не скоро. Потому что порода у нас такая, стонущая, но долгоиграющая. Может, именно потому что стонущая. Может, именно потому что умрешь-не-встанешь. Так что у меня впереди еще лет сорок.

Временной отрезок в девяносто лет, который он себе отмерил, исходя из своей стонущей, но долгоиграющей породы, явился ему вдруг индикатором в машине времени. Которой он, как и всякий долгоиграющий человек с действующей функцией памяти, по сути и являлся. В самом деле, уже произошло столько событий и несомненно еще произойдет, мир изменится до неузнаваемости, а я буду свидетелем этих изменений. Как масштабных, так и мелких. Вот как, например, мать, она Сталина помнит, босоное довоенное детство, в котором не было ни телевизоров, ни холодильников, ни телефонов, в котором вещи переходили по наследству от старшего к младшему, перекраивались, перелицовывались, переделывались, перестраивались. А потом раз – и человек в космос полетел! А потом раз – и перестройка случилась, переделка, перелицовка, перекройка. И холодильников-телевизоров-телефонов как грязи. А потом раз – и не стало страны, в которой она родилась и жила, а холодильник-телевизор-телефоны остались. А потом раз – и еще что-то, уже не понять что, а потому и не упомянуть.

Умрешь – не встанешь, словом. Вот так и он, Паяльников – хочешь не хочешь, а долгоигрательность обязывает – станет свидетелем первой, а то и второй или третьей производной от нынешнего стремительно меняющегося мира. И холодильники-телевизоры-телефоны отомрут (и не встанут), а появится что-нибудь другое. Которое тоже отомрет и не встанет. Все изменится, до неузнаваемости, еще сорок лет и... Ну, пожалуй, не все... Что-то кольнуло, нанеся ущерб футуристической картинке мироздания. Не все... Пожалуй, все так же президент будет поздравлять с очередным наступающим годом, обещая окончательную победу над текущим вирусом, предвещая скорое окончание текущей пандемии и прекращение выборочного карантина. Все также он будет свеж и опрятен, конкретен в своих жестах, и галстук у него будет идеально подобран. Правда, будут титановые суставы, керамические зубы, пластиковые кости, отпечатанные на 3D-принтере, аккуратный ливер на клипсах, внутри бегать будут разные виды нейроплазмы, образчики совершенных нанотехнологий. И на очередной видеоконференции с народом, вот с такими же паяльниками, вдруг снова прозвучит каверзный вопрос: «А сможет ли когда-либо искусственный интеллект стать президентом?» И ироничный голос ответит: «Надеюсь, что нет. Он же искусственный! Право слово, умрешь-не-встанешь!» Аплодисменты, восторженные возгласы. А к старику Паяльнику, лежащему на промятом диване, придет тетка-социальный работник, зайдет в комнату в рваных бахилах и пожеванной маске, дистанционно переключит кнопку в чипе на рейтинговую передачу «Мешки ворочать», и под клекот сногсшибательной истории про семейную пару, состоящую из двух с четвертью членов, поставит на стол пакет с цифровым молоком и хлебом, уберет пиксели со стола и привычно поморщится, выгребая из-под Паяльникова обычное, а не нано, говно.

Умрешь – не встанешь. Умрешь – не встанешь. А встанешь – так умрешь.

– Слушай, сын, а вы что, после того как я сдохну, в самом деле не станете

донашивать за мной вещи? Там кофта не дёванная совсем. Выкинете, что ли?

Выход на радугу

– У нас кошка заболела, – сказал Паяльников.

– Снеси ее к врачу, пусть укол сделают, – ответила мать, с трудом переворачиваясь на другой бок.

– Мама, она живая.

– Живая... Я тоже живая – и что? Мне никто укола не предлагает. Что я, хуже кошки?

– Нет, – Паяльников незаметно закатил глаза.

– Снеси кошку к врачу. Это только животное. Пойми: просто животное.

Голос матери звучал уверенно, она чувствовала свою несомненную правоту.

– Мама...

– Просто животное. Что тут такого! У нас когда-то кошка тоже заболела. Моя мать, бабка твоя, взяла и отнесла ее к ветеринару. Пять рублей, сказал. Укол – пять рублей. Деньги большие по тем временам. Но уколёт – и все дела. Дала она пятерку, а ветеринар ей: кошку подержите. Вот уж хрен вам с маком, ответила мать и пошла из кабинета. Хрен с маком! Чтобы я за свои же пять рублей еще и держала!

Кошка стала прятаться под ванной, и Паяльников понял: все, скоро. Она выползала из укрытия – с каждым разом все с большим трудом, – ее кормили, уже из шприца, давали лекарство, которое снимало боль и одновременно приносило сон, другое – которое улучшало аппетит. Длинношерстная, она и сейчас казалась грациозной кошечкой, но коснись ее – выпирающие кости, тающие мышцы, и – шишка на холке. Она укладывалась в любимой позе сфинкса, только передние лапки с каждым разом расставляла все шире – сфинксу все тяжелей становилось ровно держать свое тело. И взгляд становился все более непроницаемым. Членистоногое ело ее изнутри. И в последние дни – особенно интенсивно. И было удивительно, как еще несколько дней назад черная стрела пролетела над плечом Паяльникова со стола на диван. А теперь...

Потом шел рассказ про другую кошку. Почти семейная легенда, мистическая, достойная Гоголя. Ее Паяльников слышал неоднократно. Дело было в сорок первом, прабабка Паяльникова уколола палец рыбьей костью, заражение крови, к врачу не пошла, отстаньте, сказала, от меня все. И через несколько дней умерла. Рыбьи кости, они такие.

– Мы ее положили на кровать, – рассказывала мать увлекаясь, – прикрыли простыней, а сами ушли звать врача, телефонов тогда ведь не было. А когда вернулись, то простыня откинута, причем так аккуратно, будто кто простынь специально снял с лица и ровно подложил под руку. А на груди у бабки сидела кошка и лизала загноившийся палец. Она шарахнулась от нас, словно сумасшедшая заорала не своим голосом. Гноя из пальца насосалась – вот с ума и сошла. Убежала на чердак, орала там неделю, а потом и сдохла.

Паяльников пытался представить себя кошкой. Что бы и как бы он чувствовал? Понимал ли, что конец близок? Удивлялся бы не весть откуда взявшейся немощи? Мирился бы с потерей аппетита? Терпел бы пищу из шприца? Пил бы, беспомощно тычась мордочкой в плошку? А потом его бы тошнило – и что? как?

Дай мне силы и кошачьей мудрости, думал Паяльников, принять неизбежное. Чтобы вот так же, когда придет его, Паяльникова-человека, час, выползая из-под ванны, шатаясь, плестись на кухню, не принимая боли, стучаться о дверной косяк, покорно

принимать пищу, устраиваться у батареи в позе сфинкса, шуриться на исчезающий мир. Чтобы вот так же с невозмутимым и принимающим все взглядом встретить окончание жизни.

– Жизнь – это лабиринт, – сказал интеллектуальный эстет и любитель высоких штилей Савельев. – И у всех уходит разное время, чтобы выбраться из него.

– У людей – может быть, – ответил ему Паяльников, – а у кошек?

У кошек нет мыслей, нет, ни философских, ни обычных – никаких. У них, наверно, нет и воспоминаний. Или есть, но только они – как прозрачные кирпичики в стене. Как калька привычного мира, с которой они сравнивают теперешнее и сейчас. И чувства у кошек особые, не похожие на человеческие, они рождаются на кончиках вибрисс. И мир у них изначально гелиоцентричен, солнце это они, кошки, и радуга – это от их сияния.

Ночью Паяльникову приснилась радуга. С радуги, спустив хвосты, смотрели кошки. С любопытством, с вызовом, с пониманием, ласково, нежно, непроницаемо. И среди кошек на радуге сидел он, Паяльников, невесомый и лучистый. И было в этом невесомой лучистости ощущение легкости бытия. А под радугой сидел Савельев, любитель высоких штилей, и был он какой-то каменный, будто застывшее воспоминание. И, сидя на радуге среди кошек, Паяльников подумал, что нужно позвонить Савельеву и сказать, что жизнь у кошек – тоже лабиринт, но для них выход из него – в радугу.

– Ну вот кошке можно, – говорила мать, – за пять рублей и все дела, но ей не дают. И мне не дают, хоть за сколько. Я прям как кошка. Ну что за жизнь такая, кошачья.

Паяльников вспомнил про сон. И хотел было сказать про радугу. Однако смолчал. Радуга – кошкам, подумал, а людям что?

Кошка ушла на радугу через несколько дней.

– Два кило ноль пять, – сказал мальчик в крематории, принявший кошкино тельце. Стоимость услуги зависела от массы тела.

Не в коня кобыле хвост

Паяльников отошел от ноутбука. Вышел на балкон. Попытка работать удаленно, когда на улицах городов страны свирепствовал вирус, выглядела нелепой. Работа эта не затыкала никак дыр в бюджете, служила только для поддержания рабочего тонуса и не давала совсем зарыться в больничных делах.

Паяльников закурил. Перед ним с высоты третьего этажа с детства знакомый двор. Четыре пятиэтажки – все разные, построенные в разное время – образовывали стороны квадрата, внутри которого – пара детских площадок, дорожки-кустики, несколько скамеечек под чахлыми березами и обязательная по нынешним временам парковка. Во времена его, Паяльникова, детства, все было то же самое, только выдержанное в угловатом советском стиле. И вместо парковки – пара гаражей, выделенных инвалидам Отечественной войны.

Сейчас же все было красочно и чересчур беспечно, как будто с уходом с цирковой арены артритного социализма наступил прекрасно гибкий мир, отягощенный конкурентным благолепием. Хотя, безусловно, все было не так. И кому, как не Паяльникову, это было знать.

На одной из скамеек тыркались в телефоны трое мальчишек лет по двенадцать. В их возрасте Паяльников тоже с пацанами проводил время на скамейках. Телефонов разве что не было.

Паяльников с очередной затяжкой вытянул из памяти стародавнее мальчишеское

развлечение. Они с Пашкой Савельевым, нынешним интеллектуальным эстетом и любителем высоких штилей, как-то вдруг стали сочинять истории про похождения дворовых мужиков, которых они сами же наделили кликухами: Плешь, Полифем, Леопольд.

Плешь по очевидной причине лысой головы. Полифемом – из-за странной способности мужика собирать в кучу глаза. Леопольдом был неопрятного вида дядечка с запутанной шевелюрой, походившей на львиную гриву.

«Писательство» началось не сразу. Поначалу они просто издевались над своими «героями», сами же ржали над своими идиотскими шутками.

– Плешь, выходи! – орал Савельев.

– Пле-е-е-ешивый! – тоненьким голоском подвывал Паяльников.

И Плешь как по волшебству появлялся на балконе четвертого этажа. Паяльников с Савельевым прыскали со смеху.

Кому первому пришла в голову мысль что-то писать, ни Паяльников, ни Савельев уже не помнили. Однако оба помнили тетрадку в клетку, в которой они по очереди выписывали, как им казалось, смешные приключения, которые непременно заканчивались смертью героев: кто-то кончал свои дни в зубах акулы, кто-то выпадал из окна, сбивая перильца всех балконов. Кто-то еще как, Паяльников уже не помнил. Смеху и удовольствия было, пожалуй, больше, чем от воплей на весь двор:

– Леопольд, выходи!

– Выходи, подлый трус!

– Полифе-е-е-ем! Глаз на жопу ты зачем!

Можно считать эти писательские начинания безвинной шалостью, Паяльников и считал бы, если бы не одно обстоятельство. Герои историй после их «залитературирования» стали умирать на самом деле. Они умерли в короткий промежуток времени и, конечно, совсем не так, как им приписали Паяльников с Савельевым. Мало ли способов у смерти. Вплоть до того, про который судачили бабки на скамейках, – повесился в ванной, ай-я-яй! Такого юная фантазия, быстро костенеющая в тисках соцреализма, не могла родить.

Именно по этой причине Паяльников и перестал считать те литературные начинания безвинными. Как будто винил себя в безвременной кончине реальных людей.

И сейчас Паяльников курил, вспоминая оторопь, в которой он пребывал, когда в очередной раз слышал во дворе похоронный марш.

А вдруг он, Паяльников, прямо сейчас тоже становится героем какой-нибудь нелепой истории, сочиняемой, скажем, вот этими мальчишками, что тыркаются в телефоны? Вдруг она тоже заканчивается веселенькой смертью в стиле кровь-кишки-распидорасило?

Он рассказал об этом на следующий день Савельеву, интеллектуальному эстету и любителю высоких штилей.

– Ты всерьез думаешь, что пропиши тебе сейчас смерть на бумаге, ты непременно завтра сыграешь в ящик? – спросил тот, входя штопором в пробку, отделявшую их от хереса.

– Ты знаешь, что такое карма?

– Я сегодня объявление на остановке видел: «Беру борзыми щенками». И телефон.

И все, больше ни слова.

– Взял?

– Что?

– Телефон.

Савельев положил клочок бумаги с номером телефона. Потом разлил херес по стаканам.

Паяльников поставил телефон на громкую.

– Алло! – откликнулся мужской голос.

– Алло!

– Что, есть?

– Что есть?

– Щенки борзые?

– Нет, но хотелось бы знать, за какие услуги вы...

– Если нет, то идите в другое место гештальт закрывать.

Паяльников запил разговор хересом.

– Мощно, – сказал он, переваривая.

– Гештальт надо закрывать с хорошо прочищенными чакрами, иначе не в коня кобыле хвост, – сказал любитель высоких штилей Савельев и налил еще хереса.

– Пле-е-е-ешь! – донеслось откуда-то снизу.

Паяльников невольно зачесал челку назад, прикрыв как мог чуждую его сознанию лысину.

Добро и зло

– Собственно наличие зла и добра – это иллюзия, – говорил, увлекаясь, интеллектуальный эстет и любитель высоких штилей Савельев. Паяльников восседал на табурете посреди кухни под низко спущенной потолочной лампой. Он занял эту стратегическую позицию, чтобы слышать, что происходит в комнате. Мать там смотрела телевизор, и не хотелось пропустить момент, когда она заснет. А уловить этот момент можно было только по одному. Мать никогда не смотрела долго одну передачу. Изображенное в телевизоре ей быстро надоедало, и она переключала канал. А поскольку телевизор работал громко, то переключение каналов отчетливо были слышно на кухне. На кухонном столе стояла початая бутылка портвейна.

– Удобная в практическом смысле одномерная шкала, – продолжал развивать мысль Савельев. – Но если разобраться... Вот аналогия. Есть термометр, который измеряет температуру. Снизу, если мы имеем в виду вертикальный столбик, холод, сверху – тепло. Но мы живем в каждый отдельно взятый момент времени не в целом измеряемом интервале температур от, скажем минус пятидесяти до плюс пятидесяти, а в ограниченном, определяемом текущими обстоятельствами. Вот сейчас сентябрь, и наш интервал от плюс шести до плюс шестнадцати. То есть плюс шесть это холодно, а плюс шестнадцать тепло. А если мы вдруг в этот момент окажемся где-то на севере Якутии или в ноябре, то наш интервал будет другим: от минус пяти до плюс десяти. И уже плюс десять будет тепло, а в прошлом интервале это был холод. Относительно? Да. Потому что суть температуры, а она отражает состояние тепло-холодно в данном интервале, характеризуется согласно молекулярно-кинетической теории степенью хаотичности движение частиц, составляющих систему. То есть это суть температуры и состояния тепло-холодно. То есть нет никакого тепло и холодно. А есть степень хаотичности движения. Понимаешь?

Паяльников пожал плечами. Его интересовало больше не интеллектуальное эстетство любителя высоких штилей, а телевизор в комнате, который стал уменьшать частоту переключения каналов.

– А теперь к добру-злу. Аналогия полная. Остается только найти ту суть, которая в случае тепла и холода является степенью хаотичности движения. Но вернемся теперь к интервалу измерения. Как он определяется, чем ограничен. В случае с температурой это более-менее понятно. Это географические границы. Мы же не можем быть одновременно везде. Это временные границы, мы не можем существовать одновременно в мае, январе и сентябре. Это примитивно, но тут есть еще факторы. Скажем, где-нибудь на Кубе, где круглый год одинаковый температурный режим, интервал сужен, но постоянен. Прочее. А в случае добра-зла? Что это за интервал?

Паяльников снова пожал плечами.

– Я бы сказал, что это масштаб личности. Чем больше масштаб личности, тем шире интервал. Или наоборот. Какой-нибудь Иисус или Будда имеет интервал если не максимально широкий, то близкий к этому. А вот что заменит степень хаотичности движения нашей температурной аналогии? Не знаешь? А я тебе скажу, – Савельев поднял палец вверх. – Это... – Он выдерживал мхатовскую паузу. – Это энтропия! Мера беспорядка материи.

Паяльников подскочил с табурета – телевизор перестал переключать каналы.

– Если ты увеличиваешь энтропию в системе, – крикнул ему в спину Савельев, – ты движешься в сторону общепонятнейшего зла. А если уменьшаешь, то...

Вопреки ожиданиям Паяльникова, мать не спала. Она лежала на подушках, рядом на одеяле – лентяйка. Телевизор казал какое-то политическое ток-шоу с интенсивно разбрасывающими слова синеватыми (телевизор немного синил) героями.

– Говно пошло, – сказала мать мрачно.

– Что, опять? – спросил Паяльников принохиваясь.

– Не у меня. Вон там, – она кивнула в сторону телевизора.

И выключила его.

– Вот мать твоя сейчас уменьшила энтропию в системе, – сказал любитель высоких штилей Савельев, надевая башмаки. – Не Будда, конечно. Но что-то типа того.

Он посмотрел на прерванную философскими выкладками бутылку портвейна, которая, в отличие от матери Паяльникова, энтропию системы своей прерванностью увеличивала. Вздыхнув, Савельев вышел.

Большой взрыв

– В любой непонятной ситуации поднимай цены, цитируй Стругацких и занимайся сексом, – сказал любитель высоких штилей и интеллектуальный эстет Савельев. – Если ты делаешь это одновременно, то ты достиг истинного дао.

– А если нет непонятной ситуации, дао засчитывается? – спросил Паяльников.

Интеллектуальный эстет Савельев взял паузу, выпил и закусил. Они сидели на кухне, на столе убывала бутылка портвейна, за окном мартовское солнце терзало вдруг постаревший снег, в телевизоре красочно рождалась Вселенная. Паяльников краем глаза смотрел, как миллиарды лет назад выплевывались из сингулярности звезды и галактики, а молодые ученые, отчаянно жестикулируя, как рэперы на камеру, объясняли, что тут к чему.

– Это не истинное дао, увы, – наконец произнес интеллектуальный эстет Савельев.

– Это даже без живописного вида дна бутылки понятно.

– Понятно, – согласился Паяльников. – В любой непонятной ситуации поднимай цены, цитируй Стругацких и занимайся сексом, – пропел он как мантру и добавил: – И

учи датский язык.

– Почему датский? – любитель высоких штилей Савельев замедлил движение ко дну бутылки.

– А ты знаешь, как по-датски апельсин?

– Нет.

– Апельсинен. А тарелка будет талеркн. Картофель – картофелн. А свинина – свинекёт.

– Свинекёт? – переспросил Савельев.

– Свинекёт.

– Свинекёт?

Миллиарды лет иссякали, как божественный напиток из бутылки.

– Ну это свинство какое-то!

– Вот и я про тоже. Не порк, не карне де сердо, не швайнефляйш, в конце концов, а свинекёт!

– Уже подумываю не включить ли датский в истинное дао, – сказал Савельев.

На пороге кухни тихо появилась мать Паяльников. Увидев бутылку на столе, она спросила:

– Паясничаете?

– Нет, телевизор смотрим.

– Ну-ну. В любой непонятной ситуации ложись ногами к эпицентру, – сказала она и заковыляла в туалет, отмеряя шажками величину истинного дао.

Бада-Бум! – сказал Большой взрыв.

Вожди

– Мама, ты никому дверь незнакомому не открывай, – говорил Паяльников, чистя картошку, маме хотелось пюре. – Мошенников сейчас навалом.

– Да пока я до двери доползу, всякий мошенник плюнет триста раз. Дверь потом отмывай.

– Все равно не открывай.

– Что я, дура?

Паяльников дочистил картошку, заглянул в комнату. Мать сидела на кровати, беззубым гребешком расчесывая волосы.

– Тут намедни просыпаюсь, глаза открываю и вижу: мужик передо мной стоит незнакомый. Я испугалась, но со страху и сказать-то ничего не могу, не то что сделать. А он смотрит на меня, а потом говорит: здравствуйте. А я молчком молчу. Только потом поняла, что это сон. Под самое утро, подлец, приснился. Кто он, не знаю, в глаза не видела. Перепугалась. И встать-то потом долго не могла. Будто приклеилась к кровати.

– Дрянь дело, – сказал интеллектуальный эстет и любитель высоких штилей Савельев, вытирая салфеткой губы. – Дрянь.

Они с Паяльниковым сидели в беседке на улице и ели шаверму. Хрустели цикады, заглушая отрывку и прочий человеческий метаболизм. Было хорошо, тепло и красиво. Только вот шаверма была неудачная, как и жизнь Паяльникова.

– Сравнить жизнь с шавермой – тот еще философский дискурс, – сказал Савельев, – но ты прав: надо же ее с чем-то сравнить.

– Кого с чем? – Паяльников выпал из шавермы. – Жизнь с шавермой или шаверму с жизнью?

Савельев посмотрел на Паяльникова как на деепричастный оборот, почему-то не выделенный запятыми. И вот теперь, когда шаверма была съедена, Савельев сказал, что дело дрянь.

– Почему дрянь? – спросил Паяльников.

– Знаешь, ты ее предупреди, чтобы не разговаривала во сне с незнакомцами.

– Почему?

– Потому что к твоей матушке приходил посланник смерти. Если б она ответила бы ему...

И интеллектуальный эстет Савельев смачно, по-цикадовски цыкнул языком.

Вот Паяльников и завел это непростой разговор про незнакомцев. Но мать восприняла его по-своему.

– Знаешь, – сказала она, – мне вообще снились все руководители страны. Все. Сталин снился, Хрущев, Брежнев, Путин и тот... это... снился. И Ленин... Странно, я ведь их никогда в глаза не видела. Ну ладно, этих в телевизоре показывали. А Сталина откуда? А Ленина? Я его не видела. В Москве была. А его не видела. Очередь стоять на Красной площади сил не было. Мелкие не снились, Маленковы, кто там еще был, нет, не снились. А эти, большие, снились...

– Тоже здоровались? – спросил Паяльников.

– И здоровались, и каким только бесом не плясали. Но я им не открыла.

Мать подмигнула. И Паяльников увидел ее улыбку.

– Хреновые у нас вожди были, – заключил интеллектуальный эстет и любитель высоких штилей Савельев, – раз им даже во сне не открывают.

Война-лень-декабрь

– Знаешь, – говорил Паяльников, – вчера я стал ровно на один день старше отца. Такие дела.

Они с интеллектуальным эстетом и любителем высоких штилей Савельевым сидели в гараже. В гараже Савельева. Гараж, впрочем, плохо сочетался с интеллектуальным эстетством и любительством высоких штилей. Но другого сочетания на сегодняшний вечер не предполагалось. В гараже не было автомобиля. Зато здесь было светло и тепло, плюс пара пластиковых стульев, стопка старых колес и фанерный щит поверх, на котором одиноко стояла бутылка хереса.

Они только что раскидали лопатами огромный сугроб, который закрывал гаражные ворота. У Паяльникова не было перчаток, руки его окоченели на морозце. И теперь он, глядя на херес, усиленно тер ладонями друг о друга.

– Ну и как? – Савельев выставил пластиковые стаканчики. – Чувствуешь теперь себя как-то иначе?

– Совершенно. Как будто я теперь проживаю не только свою жизнь, но и жизнь отца, недожитую им. Странное ощущение. На все смотрю как бы с двух точек зрения. С моей собственной и с отцовской. Думаю, как бы он прожил это мгновение, а это как...

Интеллектуальный эстет Савельев философски цыкнул зубом.

– Все переменялось, – говорил Паяльников. – Ответственность какая-то другая. Не знаю даже, смогу ли, сдюжу...

Савельев посмотрел на Паяльникова, словно оценивая, сдюжит ли.

– Неожиданно.

– Что неожиданно?

– А то неожиданно, что у меня точно так же, только все наоборот. Будто кто-то другой вместе со мной проживает мою жизнь, снимая с нее сливки, а мне оставляет какие-то ошметки. Это вот... как этот гараж. Гараж есть, а автомобиля в нем нет. Квартира есть, а женщины в нем нету. Работа есть, но кайфа от нее не получается словить. Голова есть, а мыслей в ней дельных с гулькин нос. Словом, жизнь вроде есть, но ничего в ней достойного нет.

– У одного лишко, а другому вышка.

Паяльников посмотрел на интеллектуального эстета Савельева глазами отца. Савельев показался малозначительным. Паяльников сменил оптику. Сказал:

– Чем не повод для срача?

– Со всей философской глубиной явления, – согласился Савельев.

В кармане Паяльникова завибрировал телефон. Звонила мать. Спрашивала, где он. Паяльников рассказал про сугроб. Пересказав вкратце трудовой подвиг, заключил:

– Вот такой у нас тут мир-труд-май.

– Это у вас там мир-труд-май, а у нас – война-лень-декабрь, прокряхтела мать. – В магазин зайди, сметаны купи, а то в доме полная разруха.

– А чего мы тут откапывали? – спросил Паяльников, открывая дверь гаража.

– Убедиться, что за зиму здесь никакого ландо не образовалось, – ответил Савельев.

Гараж Паяльнику тоже сейчас показался малозначительным, малозначительными показались и замерзшие руки, и недопитая бутылка хереса, и сугроб. Да и сам он, Паяльников, тоже. Сметана, пожалуй, еще имела какую-то ценность. И мать, безусловно, мать. Война-лень-декабрь.

Тетрис

– Тетрис уходит из России, – сказал интеллектуальный эстет и любитель высоких штилей Савельев.

Они с Паяльниковым сидели на автобусной остановке. Ехать никуда они не собирались, просто здесь, в отличие от остального мира, не дул ветер и грело солнышко.

– В самом деле? – спросил Паяльников.

– Да. Теперь пиздец будет. Хаос. Все рухнет.

– В самом деле?

– Да вот, посмотри, – и Савельев показал на подошедший автобус. В него впихивалась человеческая масса. Паяльников причмокнул, но посылка любителя высоких штилей не догнал.

– Вот как они будут уминаться в автобусе, если тетриса в России не будет?

Паяльников попытался представить. Получалось фигово. Или это только казалось.

– На тетрисе у нас все держится. Вот как заполнять себе голову компактно информацией? Как продукты в сумку укладывать? А огурцы в банку? А как госдуму набивать? А как...

Савельев перечислял, а Паяльников думал: «А чем мне каждый вечер заняться?»

Когда Паяльников вернулся домой, мать спросила:

– А куда ты, сын мой дорогой, дел мои корбочки, которые я под кухонный стол столько лет складывала.

Это корбочки из-под воймикса, аккуратно сложенные одна в другую, чтобы их обилие заняло минимум пространства в квартире, Паяльников выкинул, посчитав с

подачи интеллектуального эстета Савельева их наличие в сегодняшнем дне окаменелым анахронизмом.

– Мама, тетрис из России уходит, – попытался оправдать свой поступок Паяльников.

– Тетрис, он, может, и уходит, так черт с ним, а коробочки верни взад. В них, может, жизнь моя.

Очень Большой Взрыв

– Из церкви вышла девушка, – говорил Паяльников. Они с интеллектуальным эстетом и любителем высоких штилей Савельевым сидели на балконе, провожая глазами лето. – Ей было лет двадцать, и была она беременна, месяце на шестом...

– Почему ты все переводишь в цифры? – спросил Савельев. – В минуты, метры, килограммы, в проценты, части целого. Это такой привет из цифровой эры?

Паяльников пожал плечами. В самом деле какая разница, какой месяц и сколько точно рублей он выгреб из кармана после того, как девица попросила денег.

– Мне сегодня продавщица в универсаме сказала, что Большого Взрыва не было. Она сказала, – в голосе интеллектуального эстета Савельева слышалась осенняя грусть, – что его не было, а потому Вселенная существует вечно. Какие-то данные нового телескопа.

Для Паяльникова этот факт не был столь фатальным, как для любителя высоких штилей Савельева, но тем не менее он сбил Паяльникова с мысли.

– И что теперь, звездац? – спросил он.

Савельев пожал плечами.

– Сын, – раздался из комнаты голос матери. – Вы с трубой на кухне заканчивать будете. А то времени нет.

– Сейчас, – ответил Паяльников.

– А ты знаешь, она права, – кивнул в сторону комнаты Савельев.

– В смысле?

– В том смысле, что времени нет. Мы привыкли измерять все цифрами. К примеру, возраст Вселенной – 14 миллиардов лет, а вот оказывается, времени нет. Чем ближе к Большому Взрыву, тем медленней оно течёт, и к моменту его – останавливается. Теория относительности, мать ее. И потому вопрос, а что было до Большого Взрыва, не имеет смысла. То есть он был, но был бесконечно давно, тогда, когда времени не было, все сходится. Завтра обрадую Машу.

– Какую Машу?

– Продавщицу из универсама. Я у неё иногда фарш покупаю.

Внизу, прямо под балконом, заорали до этого мирно беседовавшие тетки.

– А тебя е...т моя жизнь! Какого х..я ты лезешь в мою?!

– Да потому что ты лохушка, лезешь то к одному блядуну, то к другому.

– Да ты сама, блядь, лохушка.

И так далее и тому подобное, уходя в бесконечность, куда-то к Очень Большому Взрыву.

– Какой прекрасный был вечер, – сказал любитель изящных штилей Савельев, – и тут неожиданно всплыл культурный слой. Пойдём трубу на место ставить.

Кьеркегор

– Их брак был счастливым и спокойным, – прочитал Паяльников. – Регина и Фредерик даже читали друг другу вслух отрывки из сочинений Кьеркегора.

Читать друг другу вслух отрывки из Кьеркегора – это такой экзистенциальный эквивалент к «умерли в один день», – подумал было Паяльников, но его недоразвитую мысль прервал голос матери.

– У нас новое кладбище открыли, – мать выложила на кровать платье, – там, ближе к танку.

Паяльников хотел было возразить: мол, ты чего, мать, тебе ещё жить и жить, и не думать, что там поближе или подальше к танку, однако смолчал.

– Но меня похорони на старом, рядом с отцом. Там место есть. Вот в этом платье. И шарфик этот ажурный на шею повяжи.

Она выложила поверх платья чёрный шарфик.

– Хорошо, – покорно сказал Паяльников.

– Про новое-то я узнала, потому что Шурочка умерла. Ты помнишь Шурочку? Она во втором подъезде жила. Маленькая такая, сухонькая.

Паяльников Шурочку помнил с детства. Она и сорок лет назад казалась ему маленькой и сухонькой старушкой.

– Помню, как-то подходит ко мне и говорит: я могу за тобой ухаживать, только ты мне квартиру завещаешь. Вот даёт, квартиру ей. За мной ухаживать захотела! А сама первой меня свернулась. Лежит теперь на новом. И ведь младше меня, а свернулась.

– Новое открыли, новое кладбище... – интеллектуальный эстет и любитель высоких штилей Савельев подпер голову ладонью, пальцы смяли кожу на виске, отчего интеллектуальный эстет стал походить не на любителя высоких штилей, а на Пикассо на одном известном фото. А по глубине застывшей в глазах мысли – так вообще на Сёрена Кьеркегора.

– Вот, казалось бы, все едино свернёмся, а старое или новое кладбище нас примет, нам не все едино. Как тут не читать друг другу отрывки из Кьеркегора?

Он снял лицо с руки и стал обычным Савельевым, экзистенциальным эквивалентом интеллектуального эстета и любителя высоких штилей.

– Молоко тоже сворачивается, – процитировал то ли Кьеркегора, то ли еще какого одухотворенного философа Паяльников. Вышло глупо.

– Во всех цивилизованных странах, что б ты знал, – говорил Савельев, всматриваясь в метущийся в свете фар снег, – давно практикуют такую процедуру. Весь чиновничий аппарат разделен там на три категории. Первый – высший уровень, топ-менеджеры, как их называют. Потом среднее звено и низшее. И так вот, каждый отчетный период... ну, год, три года или пятилетка, у кого как... методом тыка выбирают трех чиновников. По одному из каждой категории. И публично их умерщвляют. Отбирают совершенно случайным образом. Чиновник может быть вором и подлецом, может быть прилежным исполнителем воли народной – это все не имеет значения. Случайный выбор – и ты на эшафоте. Голова с плеч, электрический стул, инъекция радости, прочее. Можно назвать это ротацией кадров, обновлением, новой кровью. И фокус в том, что чем выше категория, тем больше вероятность, что чиновник попадет под процедуру. Что-то в этом есть. Но мы страна не цивилизованная. Как думаешь?

Паяльников пожал плечами, скрывая свое раздражение от болтовни Савельева.
– Ты не думай. Я ведь просто треплюсь, чтобы не заснуть, эта метель меня изводит почище новостной ленты.

– Я не думаю. – Паяльников снова пожал плечами.

– А заодно чтобы тебя отвлечь. Хорошо б сейчас пятьдесят граммов коньяку.

– Пятьдесят? – Мыслями Паяльников был не здесь. Он снова посмотрел на присланное Наташей фото из приемного покоя. Мать на каталке, укрытая пледом. На лице кислородная маска. Фото обнадеживало. Значит, она там под присмотром. А это хорошо. Она выкарабкается. Не может быть иначе.

– Ровно столько мне достаточно, чтобы привести себя в равновесие с миром. А то без пятидесяти коньяка я его перевешиваю.

Савельев глянул на Паяльникова.

– Все будет хорошо, – попытался он успокоить друга, выходило неловко, – не может быть иначе. Потерпи, осталось километров десять.

В восемь они с Савельевым въехали в город. Метель не утихала. Савельев, напрягая последние силы, довез Паяльникова до приемного покоя больницы. Они вместе подошли к стойке, Паяльников спросил про мать.

– В первой палате по коридору, – опустив глаза, сказала медсестричка в розовой униформе.

Они прошли к первой палате. Там на каталке укрытую пледом, опутанную проводами, под идущим цифрами экраном Паяльников увидел свою мать. Кислородная маска съехала набок, обнаженная рука сияла пятном размазанной крови. Наташа стояла рядом, придерживая руку матери, та пыталась сорвать с пальца пульсоксиметр.

– Не надо, родная... – успокаивала она. – Андрей приехал, посмотри, Андрей приехал.

Мать, как показалось Паяльникову, чуть подняла голову. Но что она могла видеть через кислородную маску – какое-то жалкое подобие Паяльникова.

– У нее снова судороги начались, – сказала Наташа, удерживая как могла руки.

Паяльников до сих пор стоял не шевелясь, а теперь тоже попытался удержать руку матери, но вышло это как-то неловко. Прибор соскочил с пальца. Наташа приладила его обратно.

– У нее давление восемьдесят на пятьдесят, – сказала. – А они ничего не делали. Лишь когда я пришла, забегали. К аппарату подключили.

Вошел стремительно врач.

– Мы ее поднимаем в реанимацию, – сказал он, две медсестры взяли за каталку. Наташа отошла, подала Паяльникову пакет с ненужной одеждой. Савельев протянул Паяльникову комок пледа, Паяльников стал машинально его складывать, стремясь сложить его ровно, как то бы сделала мать. Медсестры вывезли каталку в коридор, покатали к лифту...

Мать ушла через полчаса после того, как ее увезли в реанимацию. Паяльников едва успел войти в квартиру, как зазвонил телефон.

– Примите наши соболезнования, Вера Ивановна скончалась...

Говорили что-то про успокоиться, про что-то принять. Паяльников уже не слышал. Он опустился на табурет, все еще держа трубку у уха и глядя на то, как тает снег с подошв ботинок, оставляя лужицу на протертом дощатом полу.